

Содержание

<i>Елена Михайлик. «Какая смерть, да ну, какое что»</i>	5
Не узнать	13
Год 1996	14
«Калитка не заперта, — входи, Мария...»	15
Старец Иосиф вверху и железная зима внизу	16
Крещение	17
Данте	18
«Подняться с корточек, отряхнуть колени...»	19
«Опереточное зло по-своему грутально...»	20
«Вот раздвигаю ложесна конверта...»	21
«Помнишь, в сороковой полдень...»	23
Послания на открытках	25
Михаилу Гаспарову	27
На полях заметок В. В. Биbihина об А. Ф. Лосеве, изд. 2004 г.	29
Дитрих Бонхёффер	32
«Капитанская дочка»: на жизнь и смерть патриарха Алексия II.	33
Иконостас	34
Мать Мария Скобцова	35
Вечная память	36
Читаю ночью	37
О. Александру Шмеману, в честь выхода в России его книги «Литургия смерти»	38
Памяти сериала «Бригада»	39
Питер: пророки	41
Ян Твардовский	42
Шота Руставели в монастыре Креста на Святой Земле	43
Ван Гог	44
«Церковь в Овер-Сюр-Уазе», музей Орсе...»	45
«Когда перед смертью...»	46
«Крик» Мунка	47
Якопо Беллини, «Сошествие во ад»	48

«Роженица с предстоящими» (Неизвестный автор. Италия, раннее Возрождение)	50
Бронзино, портрет Биа Медичи	51
Фрида	52
Брейгель	53
Витраж в манере Иеронима Босха	54
«Чёрный квадрат», х., м., жжёная кость, чёрная охра, зелёное, мел	56
«антихрист вошел в обезлюдевший город...»	57
Минусинские художники	58
Из жития литературных новомучеников российских	59
На шестое июня	61
На смерть Пушкина	64
К 200-летию Гоголя	65
«Два летних облачка, видишь...»	66
Лев Толстой. Бегство	67
Эзра Паунд	68
Товарищу Паунду	69
Чарльз Буковски пишет письмо	71
Мой Маяковский	72
Артюр Рембо. Африканские стихи	73
«Война! Ты — мистерия...»	76
Листая Юнгера	77
Бернанос. Военные дневники	78
Ницше	79
Вознесение Тракля	80
Карл Барт	81
Первый снег	82
Ленин жив	84
«(бесплодная смоковница...»	86
Памяти Виктора Кривулина	88
Виктору Кривулину и его книге «Основные записи (Узоры и краски)», изд. «Беседа», Ленинград — Париж, 1988 г.	90
Заболоцкий	92
Циолковский	94
Николай Носов	95
Метеоритный дождь	96

Мёртвые белые мужчины	97
Линор Горалик и книге «Всенощная зверь»	102
Чайковский, патетическая симфония	105
Музыка	107
Паганини, соната «Наполеон»	108
Моцарт, адажио b-dur, К. 411, для конца времён, двух кларнетов и трёх бассетгорнов	109
Целься	110
День Филонова	111
Собор небесных сил безплотных	113
Век Мандельштама	116
С новым 1937 годом	117
Свадьба на философском пароходе	118
Иван Шмелёв	121
В порядке живой очереди	123
Хармс	126
Переводчик с немецкого	127
Бруно Шульц	128
«агентство новостей сообщает...»	129
«охранник храма Христа Спасителя...»	131
Дождливое лето 2015	133
«Москва—Петушки»	134
Снегопад	135
Взрыв в подвале	136
«снег ложится в человека...»	137
«Социальный поэт, цифровиком с суперпамятью, навешивает дни...»	138
Александр Гольдштейн	139
Марианна Гейде	140
«Поэт Фёдор Сваровский...»	141
«Поезд был проходящий, перрон...»	142
Александр Ильенен	143
Борис Рыжий	144
Параллакс	145
Из пустыни с любовью	148
Кабачок фэнтези	152
Дело вкуса	153
«Учитель вытер испачканные мелом пальцы...»	155

Ивану Карамазову	158
Хулио Кортасар, «Игра в классики»	159
Мы только хотели посмотреть на лёд	160
«Мертвец» Джима Джармуша	161
Плутон и Ящерица	162
Линч: подземная весна	163
Зита и Гита	164
Превью 20	165
Панголин	166
Миллениум	167
Московская зима 2011	168
«мы — поэты второго ряда...»	172
Поэту	173
Станционный смотритель	174
Непородистому поэту	175
Член жюри литературной премии «Дебют» в номинации «Поэзия» прочёл лонг-лист и молча смотрит в ночное окно, помяная Адорно	177
Смерть Венеции	178
Похищение Европы	180
Детский крестовый поход Орианны Фаллачи	181
«Баадер — Майнхоф — Ваген»	183
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» и пил из призового кубка кровь побеждённых	184
Фланнери О'Коннор	185
Старый Зеб Стамп говорит	188
В Америку!	192
Американская муза	193
Просто	194
Кисточка	195
Акварельное последование святых богоявлений	197
Преподобный Иоанн Дамаскин говорит:	199
Седьмой Вселенский Собор: реальность иконы	200
<i>Илья Кукулин. Мир, населенный лицами</i>	<i>201</i>

«Какая смерть, да ну, какое что»

Что нужно знать о новой книге Сергея Крутлова?

Во-первых, в ней все живы. Совершенно все.

Моцарт, Ян Якуб Твардовский (уже не священник, не боец Армии Крайовой, но по-прежнему носит очки и нарушает, как хочет — его действия в стихотворении звучат почти как описание хулиганства в протоколе: «пускал зайчиков куда-то в стёкла третьего этажа / и кричал: „Господи! Выходи!“»), Шота Руставели, Михаил Гаспаров, Дитрих Бонхоффер, Винсент Ван Гог, Пушкин Александр Сергеевич (этот особенно), проходящая на улице, Георг Трактль, даже Маяковский, даже Ленин (хотя это сложный случай).

Да, и все перечисленные — и многие с ними, в диапазоне от «какого-то испуганного человека», шляющегося по скальным поверхностям сложного профиля, придерживая «кривовато сидящий / лавровый венок», до персонажей индийского фильма «Зита и Гита», радости советских детей поколения семидесятых — не снабжены разъяснениями, комментариями и примечаниями, потому что живые в них не нуждаются. Заняты. Живут. Все, включая смерть:

*Никто не умирает в Петербурге:
На невском парапете смерть сидит,
Глядит в ничто, смолит окурок «Примы»,
Какой там план, какая пятилетка,
Какая смерть, да ну, какое что.*

(Да, конечно, петербургское искусство, петербургская речь — живы тоже, во всем объеме. Как же иначе?)

Всех их приходится опознавать, как мы узнаем людей на улице, а не как тяжелые, весомые лица в учебнике, со всеми соотноситься, как с соседями по общежитию. Какowymi они, собственно, и являются.

Имеются, конечно, исключения — и поэт, спрятавший «разбросанные части» ветхого Адама, чтобы грехопадение и всю историю человечества нельзя было откатить назад, сделать небывшими, на требование явиться с родителями ответит: «— А чо сразу с родителями... / Где я их вам... / Я вам чо — Николай Федоров?..» (Ибо именно Федоров и хотел собрать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов».) Хотя сам ответ подразумевает, что Николай Федоров тоже присутствует где-то поблизости, и вот как раз он, к ужасу школьной администрации, вполне способен «прийти с родителями».

Все живы, и Круглов внятно (и с профессиональной убедительностью) проговаривает тот ракурс, ту точку зрения, с которой это — именно так.

*Калитка не заперта, — входи, Мария.
Листай этот сад, как медленную книгу.
Когда весной сойдут сугробы
И подснежники откроют небу мохнатые очи,
Исполненные водянистого света,
Ты найдёшь всё, о чём горевала:
Потерянный в детстве секретик, зарытый под кустом
сирени,
Дуэльный ржавый лепаж, давший кряду четыре осечки,
Могилу Бродского на Васильевском острове.*

*Медленная наша книга, которую Кто-То
Заложил до времени пальцем,
Задумавшись над строчкой, нежно, царственно
всматриваясь
В невыразимо наше Своё.*

Во-вторых, поскольку всё живо, всё существует одновременно — совершенно не стесняясь того — и, соответственно, может встречаться в любых комбинациях. В любых, то есть в любых — и некий Иосиф «В этом своём

университетском пиджачке, / В котором пачка „Парламента“ в правом кармане», принимающий те самые роды «среди снега, песка и звезды», здесь естественен, как и библеист Десницкий, не знающий, что ему делать с Вавилонским смещением (и смещением) языков, как вообще (и в священной истории), так и в текущей православной церковной практике... потому что это, вообще-то, одна и та же проблема.

Со стихосложением — и языком — в книге происходит то же самое. В ней царит торжествующая синестезия. Цвет описывается через глубину, музыка — через ощущение внутреннего разрыва, снег валится из сквозных прощелок на небе как хармсовские старушки.

Соседствуют, пересекаются, срastaются в любые химеры все, от верлибра до раёшника, от вариаций на тему классики до быличек и «попаданческой» фантастики, а внутри цветут окказионализмы («многослепоочитая, лезвиетысячегранная» и замечательное «резверья»), церковнославянизмы, пушкинизмы и просторечия. Литературная, уличная и богословская традиции лежат рядом как лев и ягненок, даже хуже, чем лев и ягненок, потому что явления и люди, оставаясь собой, не остаются в собственных границах. Эта радость языка, бытия, возможности не признает иерархий и запретов, но не борется с ними, а просто течет.

И когда стихотворение вдруг начинается «просто дырая соната да кьеза» — это не из эпатажа, не ради противопоставления, а просто из той самой точности. Потому что вы слышали эти кореллиевские церковные сонаты? При всей прихотливости, при всей изысканности, совершенно бесхитростны, не притворяются, не являются ничем, кроме себя... стоят по центру, не стесняясь несовершенства, неравновесия, человеческой природы — как королева Кристина. Но, позвольте, стоят — где именно?

Целься

*простодырая соната да кьеза
сочинение корелли
стала спиной к яме
лицом к нам

ничего более бесстрашного
в этом мире не осталось

да уже ничего и не надо*

Потому что необарочная, яркая, играющая планами, формами, сюжетами, строящая четвертые стены, чтобы радостно пройти насквозь, залитая светом, местами поразительно счастливая книга — так же вещно, убедительно, со знанием материала, с профессиональной дотошностью описывает мир двадцатого века в той точке, где он оказался в двадцать первом.

Говорит (передавая едва не физически) о медленном удуше тонущего, о прокрустике, возведенной в принцип (и тоже принявшей развеселый формат раёшника), невозможности услышать и быть услышанным, о культуре, где (не то в реальности, не то в мечте, что плотнее и прочнее реальности) существует архангел Тихоил, чье имя «означает: „Молчание Божье“» и чья обязанность — заменять собой убиваемых поэтов... интересная профессия для ангела, не правда ли? В данных обстоятельствах постоянная занятость обеспечена.

Где «выяснение отношений с внутренним Хармсом» заканчивается предательством, доносом («расскажи о нём своему психоаналитику: „Товарищ следовательно! довожу до вашего сведения“») и неизбежным крестиком среди безымянных крестиков на «внутреннем кладбище» — и в том же состоянии преданности и предательства находится русская речь¹.

¹ Не то чтобы в рамках традиции в этом было что-то новое: «Снова и снова / Слышать в лицо вопль добродетельного человечества: / «Распни, распни Его! Не имамы / Иного царя, кроме кесаря!»».

Сергей Круглов по одной из своих профессий — священник, по другой — поэт, и к положению человека в этом мире относится тоже профессионально. В первую очередь, он его видит — и не пытается заместить чем-то еще.

А сама книга носит название «День Филонова». Что кажется, опять же, очень точным — и по сочетанию красок, и по всеядности метода, и по восприятию времени, и по одновременно запойной и сугубо ремесленной радости мастерства при беспощадном отношении к предмету.

«Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби».

Это пишет Хлебников о Филонове — а вот что он говорит до того: «Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну? Он ответил: „Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войн за пространство“»¹.

Представляется, что в книге Сергея Круглова происходит именно это. Автор последовательно ведет войну за время — за бранный, преходящий, беспомощный мир, в котором оседает, оплывает, становится пищей огня, воды и болота, переплавляется во что-то совсем другое, обычная человеческая жизнь, поэзия, проза, музыка, философия, возомнившая о себе контркультура и радикальная политика.

Археолог с пинцетом и кисточкой, вылавливающий в толще цветные осколки, аккуратно складывающий, склеивающий, узнающий, удивляющийся находкам,

*(«мы — поэты второго ряда
о нас никто не помнит
время выбивает нас первых
мортиры времени бьют навесом*

¹ Хлебников В. Ка // Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель, 1986. С. 524–525.

*метят в тех кто стоит шеренгой блистая
в первом ряду
но время такое время
у него всё время —
перелёт»)*

ошибающийся, сочетающий не тех не с теми, пишущий современников с маленькой буквы, склеивающий в два катрена уголовную традицию и Мандельштама,

*(Кто не вкушал салатов недоетых,
Не игрывал в жестокие снежки,
Не лазывал на ваши табуреты
Читать свои бессмертные стишки,*

*Тому синички-норны спели
И коготками норку выщербил в льду,
И сизых звёздочек наколотых чреду
Под килевидной маечкой продели.)*

периодически обнаруживающий, что собирает об эти слова — себя, но не прекращающий работы.

Потому что, конечно, бытие Божие доказано раз и навсегда, и, как в той известной книге, «все просто»:

«Крик» Мунка

*вид на осло-фьорд с холма экерберг
здесь кончается
небо
писанное не кровью но гноем*

*ветер из отверстой, настолько
отверстой человеческой дыры
рушит декорации надувает
паруса парусии*

*Ты не сможешь не прийти
на такой зов*

И мир больше, и в нем всему есть место, а ад смешно и неприлично мал — и несущественен во всех смыслах слова.

Но хочется же, чтобы были живы здесь, во времени, чтобы жизнь во всем своем объеме присутствовала сейчас, с нами. Чтобы история двадцатого века, во всех своих переломах, срослась и светила как соната ди Кьеза, как нарисованная женщина (вы ее знаете) в небе над Ленинградом. И конечно, эту задачу в принципе нельзя решить — и уж тем более ее заведомо не получится решить в пределах небольшой книги стихов.

Некогда, в незапамятные времена, Хлебников и Мандельштам должны были драться на дуэли по весьма серьезному поводу. Виктор Шкловский говорил об этом так:

Хлебников прочел в «Бродячей собаке» стихи, в которых было слово «Ющинский — 13», и посвященные Мандельштаму, то есть он обвинил Мандельштама в ритуальном убийстве. <...>

Мандельштам вызвал Хлебникова! «Я как еврей, русский поэт считаю себя оскорбленным и вас вызываю...»

Ну, и другим секундантом должен был быть Филонов. Мы встретились при Хлебникове. Павел Филонов сказал: «Я этого не допущу. Ты гений. И если ты попробуешь драться, то я буду тебя бить. Потом, это вообще ничтожно. Вообще, что это за ритуальное убийство?». А Хлебников сказал: «Нет, мне это даже интересно! Я думал всегда <нрзб> футуриста соединить с каким-нибудь преступлением». Как Нечаев. Филонов сказал, что это совершенно ничтожно. «Вот я занимаюсь делом: я хочу нарисовать картину, которая бы висела на стене без гвоздя». Тот говорит: «Ну и что она?» Он говорит: «Падает». — «Что же ты делаешь?» — «Я, — говорит, — неделю ничего не делаю. Но у меня уже похищает эту идею Малевич, который делает кубик, чтоб он висел в воздухе. Он подсмотрел. Он тоже падает»

<...> а Хлебников сказал, что он был не прав, что сказал глупость»¹.

Обычно этот инцидент пересказывают без середины. Без того, что именно Филонов (в пересказе) назвал «совершенно ничтожным». А назвал он так — попытку прорвать невидимую границу, предел, положенный искусству, соединив футуриста «с каким-нибудь преступлением». Сделать вещь искусства настоящей, напоив ее чужой кровью. (В данном случае — кровавым наветом.)

Так вот, этот метод, согласно Филонову, во-первых, недостоин — и, во-вторых, не работает. Впрочем, своя кровь, честные попытки выйти за пределы законов мироздания, поставить задачу вне искусства, но в пределах доступного человеку мастерства, тоже не работают, тоже безнадежны. Но это дело. Этим можно заниматься. Такую идею нестыдно украсть, даже будучи Малевичем.

Как мне кажется, в новой книге Сергея Круглова картина — здесь и сейчас — тоже падает. Память теряется, мир распадается, истории людей расползаются как ветхая ткань, у тех, кто убивал беззащитных — кристально чистая совесть, даже советский портвейн — и тот испортился, хотя, казалось бы, вот ему дальше портиться вообще некуда. И никакое самое точное, самое жалеющее или жалящее слово не способно зарастить ни одной прорехи. Вернуть хоть что-нибудь. Картина падает. Каждый раз. Тогда автор берет и пишет новую.

Потому что, пока мы живы, каждый день — день Филонова.

Елена Михайлик

¹ Дувакин В. Д. «Маяковский в слезах, Хлебников на дуэли, Пастернак против Мандельштама, футуристы в салоне Лили Брик — Шкловский о людях будущего» // Устная история. Сборник «Виктор Шкловский». Беседа 1/3, запись от 14 июля 1967 г. ОУИ НБ МГУ № 12-13 (<https://oralhistory.ru/talks/orh-12-13/text>).

Не узнать

Ночь напролёт
Что-то писал, строчку на строчку низал,
Себя не помня;
Устало откинулся — и вдруг
В зеркало на себя гляжу,
Как Цветаева из Елабуги: чужой,
Мёртвый!

Нет, брошу-ка стихи,
Встану да помолюсь:
Да воскреснет Бог,
Да воскреснет и человек,
Да придёт в себя, станет
Сам на себя похож!

Год 1996

Все двери
настежь будут вам всегда. Но не
грустно эдак мне быть нищу;
я войду в одне. Вы — в тыщу.

И. Бродский. «Послание к стихам»

Как я дерзил тебе в своей Сибири!
«Иосифу Прекрасному» — как только
Я начинал писать, чернила в ручке
Кончались. Нескончаемый сюжет:
Египет, братья, год неурожайный.

Яко по суху пешешествовав, Иосиф,
Ты перешёл через себя земного
Невлажными стопами, и, быть может,
Во тьме увидел свет нерастворимый:
Тебе навстречу шли.
Тебя приветил,
Сновидца вещего и царедворца речи,
Тот, Кто в нас речь посеял и взрастил.

Всё, что мы создали — всё обретаем снова!
(Прости мой тон: всё, что есть свет и праздник,
На воляпюке менторски звучит).

Из тысячи дверей есть тысяча дорог,
И человек, Иосиф, так велик,
Что всеми тысячью идет одновременно.

Я в это верю. Ты же — знаешь точно:
В тот год, когда ты умер, я крестился.

* * *

Калитка не заперта, — входи, Мария.
Листай этот сад, как медленную книгу.
Когда весной сойдут сугробы
И подснежники откроют небу мохнатые очи,
Исполненные водянистого света,
Ты найдёшь всё, о чём горевала:
Потерянный в детстве секретик, зарытый под кустом
сирени,
Дуэльный ржавый лепаж, давший кряду четыре осечки,
Могилу Бродского на Васильевском острове.

Медленная наша книга, которую Кто-То
Заложил до времени пальцем,
Задумавшись над строчкой, нежно, царственно
всматриваясь
В невыразимо наше Своё.